

Н О Б Е Л Е В С К И Е
Л А У Р Е А Т Ы

ПРОСТАЯ ПОЕЗДКА В ГЛУБЬ СТРАНЫ:

Вокзал Сен-Лазар — Два клошара на железнодорожной
станции в Пикардии — Китайские туристы
на прогулочном кораблике — Колокольня Курдиманша —
Фазан среди деревьев в речной долине — Кошка в делях
ущелья — Парочка в «CAFÉ DE L'UNIVERS» — Молчаливые
паломники — Учительница деревенской школы —
Хозяин гостиницы — Вексенское плато —
Почтальонша — Краинный художник —
Футбольный матч — Барачный рабочий поселок —
Торжественная речь

Никогда еще никто не видел яркого лета
в таком многообразии цвета.

Вольфрам фон Эшенбах, «Виллегальм»

И кто принудит тебя
идти с ним одно поприще,
иди с ним два.

Матф. 5:41

Никто у дороги не дал огня,
А на свидании света.

Фриц Шwegлер фон Бреех

Эта история началась в один из тех дней разгара лета, когда ты первый раз в году идешь босиком по траве и тебя жалит пчела. Во всяком случае, со мной именно так и случается с незапамятных времен. И теперь я уже знаю, что такие дни, отмеченные первым и часто единственным ежегодным укусом пчелы, совпадают, как правило, с началом цветения клевера, среди которого, у самой земли, копошатся еле приметные пчелы.

Был солнечный, но не жаркий, во всяком случае пока еще стояло утро, и это тоже повторялось неизменно, день начала августа, с ровной синевой неба, поднимающейся выше и выше. Ни единого облака, а если вдруг одно и появится — тут же растворяется. — Дул легкий окрыляющий ветер, с запада, как часто бывает летом, со стороны Атлантики, так рисовало воображение, чтобы залететь сюда, в Ничейную бухту. На траве ни росинки, все сухо. — И сегодня, как уже целую неделю во время ранних утренних прогулок по саду, голые ступни не чувствуют даже намека на влагу, а между пальцами тем более ничего не чувствуется.

Говорят, что пчелы, в отличие от ос, жая, теряют свое жало и умирают от собственного укуса. За прошедшие годы, когда меня кусала пчела — почти всегда в голую ногу, — я не раз наблюдал такое, по крайней мере, видел словно вырванный с мясом из пчелы кро-

шечный и вместе с тем сокрушительный трезубый гарпун, на котором пучилось что-то дрябло-студенистое, нутряное, и был свидетелем, как прямо на глазах скукоживается, дрожит, трясется это существо с цепенеющими крыльями.

Но тогда, в тот самый знаменательный день укуса, в который история о воровке фруктов обрела очертания, пчела, ужалившая меня, босоногого, не погибла от этого. И хотя на сей раз речь шла о совершенной крохе, шерстистом плюшевом комочке с классической пчелиной раскраской в полоску, она, ужалив, осталась при своем жале и после произведенной атаки, беспрецедентной по своей неожиданности и силе, лихо умчалась с жужжаньем прочь как ни в чем не бывало, и более того — с такой энергией, словно осуществленная операция прибавила ей сил.

Я же был вполне доволен укусом, и не только из-за выжившей пчелы. — Имелись и другие причины. Считалось, что пчелиные укусы, опять-таки в отличие от укусов ос или шершней, якобы полезны для здоровья, при ревматизме, нарушенном кровообращении и прочих хворях, и такой укус, мнил я, отдаваясь очередной фантазии, оживит мне хотя бы на некоторое время пальцы на ногах, которые год от года вследствие затрудненного кровотока все больше теряли чувствительность и даже совсем онемели; под действием сходной игры воображения или фантазии я, независимо от того, где я находился, в саду ли Ничейной бухты или на уступчатых склонах приусадебного участка в далекой Пикардии, частенько принимался рвать голыми руками крапиву, выдергивая охапки из суглинистой почвы тут и рыхлой, известковой почвы там.

Была и еще одна причина, по которой пчелиный укус пришелся мне как нельзя кстати. Я воспринял его как знак. Хороший или дурной? Ни хороший, ни дурной или недобрый, просто как знак. Укус подал мне знак, что пора двигаться. Пора тронуться в путь. Оторваться от сада и привычных окрестностей. Снимайся с места. Пробил час отправляться в поход.

Мог ли я обойтись без такого рода знаков? В тот день, тогда — нет, и пусть все это было лишь игрой воображения или летним сном наяву.

Я подобрал в доме и в саду, наведя некоторый порядок и оставив кое-что нетронутым, на своих местах, выгладил две-три старые, особо дорогие мне рубашки, не успевшие высохнуть на траве, сложил вещи в дорожку, сунул связку ключей от деревенского дома, гораздо более увесистую, чем ключи от моего здешнего, пригородного дома. И как уже не раз случалось перед отъездом, — у меня порвался шнурок, когда я завязывал высокие ботинки, и я все никак не мог найти двух подходящих носков, и перебрал десятка три подробных карт, среди которых так и не обнаруживалась та единственная, нужная мне, вот только сегодня, в отличие от предыдущих разов, у меня порвалось сразу два шнурка (на завязывание которых я потратил не меньше четверти часа и сломал себе при этом ноготь на большом пальце) и мне пришлось в итоге довольствоваться разномастными носками — других почти не было, — которые я сложил попарно в стопку, а перспектива путешествовать вообще без всякой карты меня даже порадовала.

И как-то вдруг я освободился от спешки, проистекавшей от ощущения цейтнота, владевшего мной, со-

вершенно беспочвенного, охватывавшего меня по временам, не только в момент, когда я трогался в путь, от чего у меня, как правило, совершенно перехватывало дыхание, но и за час до того, что действовало почти убийственно. Все, больше никаких часов. Книга жизни? Чистые листы. Конец сну. Конец игре.

Теперь же, неожиданно-негаданно, цейтнот улетучился, стал беспредметным. И все время мира стало вдруг моим. Мне много лет, но времени у меня оказалось больше, чем когда бы то ни было. А книга жизни — она лежала передо мной, открытая, в моей полной власти, и страницы ее, особенно ненаписанные, сияли на ветру мира, этой земли, здешности. Да, наконец, не сегодня, не завтра, но очень скоро, я увижу наяву мою воровку фруктов, как живого человека, целого, а не просто как отдельные части-фантомы, попадавшиеся мне на протяжении всех предшествующих лет на глаза, уже постаревшие от возраста, в основном в толпе, всегда на расстоянии, и всякий раз дававшие мне толчок. Теперь — в последний раз?

Неужели ты забыл, что неприлично говорить «в последний раз», как неприлично говорить о «последнем бокале вина»? А если и говорить, то как тот ребенок, которому разрешили доиграть «в последний раз!» (скажем, на качелях или на горке), а он все равно кричит: «Еще разок, самый последний!», — и потом снова: «Еще один, последний раз!». Кричит? Ликует! — Но ведь и ты сам частенько возвещал о том же. — Да, но в другой стране. Ну и что?

В тот летний день я не взял с собой ни одной книги и даже убрал со стола ту, которую читал утром, средневековую историю — о молодой женщине, которая,

чтобы изуродовать себя и тем самым избавиться от внимания преследовавших ее мужчин, отрубила себе обе руки. (Отрубить себе обе руки? Только ли в средневековых историях такое возможно?) Мои записные книжки и блокноты я тоже оставил дома, отправил под замок, спрятав от себя самого и заранее смирившись с тем, что рискую их так никогда не найти, и запретил себе, по крайней мере, в ближайшее время, к ним обращаться.

Прежде чем тронуться в путь, я уселся, пристроив походный мешок у ног, прямо посреди сада, на единственный стул, или даже скорее табурет, на расстоянии от деревьев, и главное, подальше от столов, — и того, что под бузиной, и того, что под липой, и того, что под яблонями, самого большого или, во всяком случае, самого внушительного. В моем представлении я, сидя вот так без всякого дела, более-менее прямо, закинув ногу на ногу, нахлобучив на голову соломенную походную шляпу, олицетворял собою того садовника по имени Валье (или как-то так), которого Поль Сезанн под конец жизни не раз писал или рисовал, особенно в 1906 году, в год смерти художника. Садовник Валье на всех этих картинах, причем не только из-за шляпы, бросающей тень на лоб, предстает с почти скрытым лицом или лицом, как видится мне в моем воображении, без глаз, а нос и рот как будто стертые. Только контур лица сидящего там запечатлелся у меня теперь в памяти. Но что за контур! Контур, силою которого обрамляемая им почти пустая поверхность лица олицетворяет собою, выражает и сообщает нечто большее, чем то, что была бы в состоянии передать любая тщательно прорисованная физиономия, — или, по крайней мере, представляет собою нечто другое и транслирует нечто принципиально другое — принципиально другой род игры. Разве нельзя было бы перевести французское имя

садовника «Vallier», переименованное мною в «Vaillant», как «надзиратель», нет, как «присмотрщик», «бдящий» или просто «бодрствующий», разве такое имя не подошло бы ко всей физиономии садовника Вайе вместе с полуисчезнувшими органами чувств, будто стертными ушами, носом, ртом, а главное — глазами?

И вот когда я так сидел, погруженный в бдение и одновременно словно во сне, в другом сне, неожиданно на меня налетел чей-то голос, приблизившись ко мне вплотную, — ближе не бывает, — к самому уху. Это был голос воровки фруктов, вопрошающий, нежный и вместе с тем определенный, — нежнее и определеннее не бывает. О чем же она меня спросила? Если я правильно помню (ведь наша история — дело прошлое), ни о чем таком особенном она не спрашивала; сказала что-то вроде «Как дела?», «Когда ты едешь?» (хотя нет, память восстановила забытое). Она спросила меня: «Вас что-то беспокоит, сударь? О чем вы так тревожитесь? Qu'est-ce qu'il vous manque, monsieur? C'est quoi, souci¹?» И это был один-единственный раз за всю историю, когда воровка фруктов адресовалась ко мне с прямым вопросом, использовав личную форму. (Почему я, кстати говоря, решил, что в тот первый и единственный раз она обратилась ко мне на «ты»?) Но самым необыкновенным при этом был ее голос, голос, какой нынче стал большой редкостью, а может быть, и всегда был большой редкостью, голос, исполненный заботливости, но без тревожной интонации, а главное — это был не просто голос, но голос терпения, терпения, проявляющегося не только как свойство, но и в значительно большей степени как деятельность, как постоянное деятельное начало, — в смысле «набираться терпения» и одновременно

¹ Чего вам не хватает, месье? Вы о чем-то тревожитесь? (*фр.*)

«терпеть»: «Я набираюсь терпения и терплю тебя, его, ее — всех и вся без разбору, всё подряд, и притом беспрестанно». Никогда в жизни подобный голос не переменял бы своей модуляции, не говоря уже о том, чтобы вдруг перескочить к пугающе другой, — как это случается, по моим наблюдениям, с большинством человеческих голосов (в том числе и с моим собственным), но особенно резко проявляется в женских. Скорее этот голос был постоянно подвержен опасности сойти на нет, умолкнуть, еще чего доброго — о нет! могущественные силы, спасите мою воровку фруктов! — навсегда. Этот голос, звучащий и по прошествии многих лет у меня в ушах, соотносится, думается мне, с тем, что однажды сказал один актер в интервью, отвечая на вопрос, как его голос помогает ему сыграть ту или иную сцену в фильме: по его словам, он всегда улавливает — причем не только у себя, — насколько в той или иной сцене или во всей истории звучит «правильная тональность», и правдоподобие отдельных сцен, как и фильма в целом, он оценивает не по тому, что видит, а по тому, что слышит. После чего актер со смехом добавил фразу, благодаря которой я на какое-то мгновение встал на его место: «У меня, кстати, очень хороший слух, достался мне от мамы».

Был самый разгар дня, классический полдень, какой бывает, наверное, только в первую неделю августа. Все соседи в ближайшей округе словно исчезли, и случилось это не вчера. Казалось, что они не просто переехали на лето в свои другие квартиры или шале во французских провинциях. Мне представлялось, будто они вообще выехали куда-то далеко-далеко, подальше от Франции, вернулись на родину предков, в Грецию, в португальское «загорье», в аргентинские пампасы, на берега японского Восточного моря, на испанскую Ме-